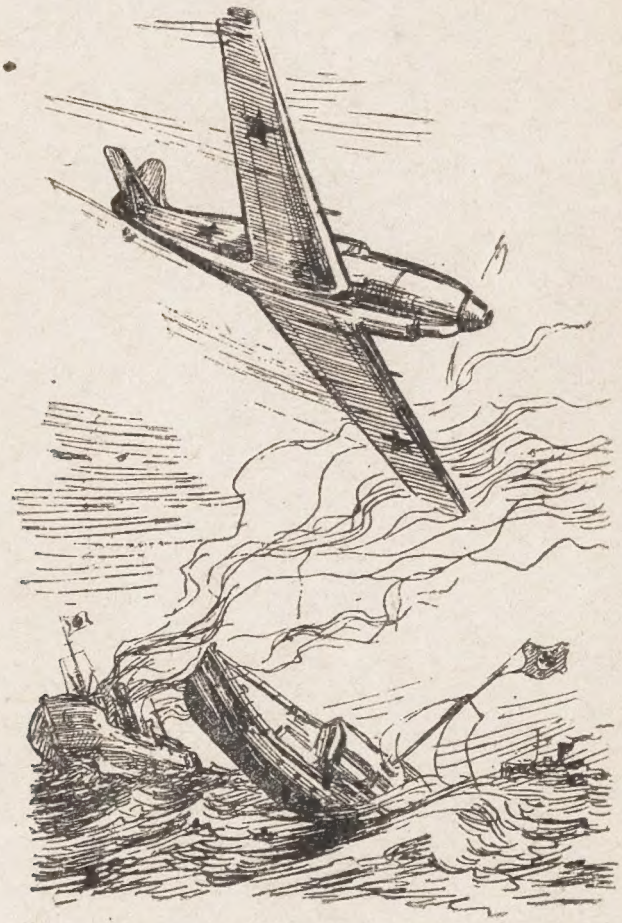
В107 1165

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. МАРЬЯМОВ

ПУТЬ КОМАНДИРА



Молодая Гвардия

1943

ОИК
Фонд. б-ка

B107 1165

А. МАРЬЯМОВ

ПУТЬ КОМАНДИРА

Издательство
ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
1943

2 экз

Редактор М. Дальцева.

Подписано к печ. 4 V 1943 г.
Л-37979. 1⅝ печ. л. 61 568 зн.
в печ. л. 2,6 уч.-изд. л.
Заказ 524. Тираж 50 000.
Цена 55 коп.

Ф-ка юношеской книги
издательства ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия».
Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

777266

1

Детство Петра Сгибнева началось в деревушке Шевелево, что под Кашиным, близ Ленинграда.

Сюда возвратился летом 1919 года демобилизованный солдат Георгий Сгибнев. Он не был в родной деревне семь лет: в 1912 году его призвали, и пошел он служить в Кронштадт, на форт «Красная Горка». В деревне Сгибнев плотничал, а на «Красной Горке» узнал он вместо податливого душистого дерева скользкий от густой смазки металл. Сделали здесь из Сгибнева отличного бомбардира-наводчика, приставили к тяжелому крепостному орудию, и там, сторожа невскую столицу, провел он подле своего орудия все четыре года русско-германской войны. В семнадцатом году бомбардира Сгибнева выбрали в полковой комитет. За пять лет службы его узнали и полюбили кронштадтские батарейцы, потому что характер у Сгибнева был веселый, ум — живой, язык — острый, рука — умелая. Сгибневу можно бы демобилизоваться в ту пору и уйти во-свояси — срок его службы вышел, но он знал, что теперь его орудие защищает не царский дворец, а свободу родной земли; знал, что за фортом его — Питер и Смольный, а в Смольном — Ленин и Сталин. Сгибнев не ушел с батареи, пока не окончилась гражданская война. А когда был добит Юденич, он сложил в деревянный сундучок скудное солдатское добро и отправился в родную деревню.

В своей избе он нашел рубанок, за который не брался семь лет. Вышел во двор. Провел рубанком по шершавой доске. Сталь и дерево запели свою согласную, уже позабытую Сгибневым песню, и он улыбнулся, слушая эту песню и вдыхая живой смолистый, сосновый дух. Он снова стал плотничать в Шевелеве. Земляки выбрали его в комитет бедноты. Когда Сгибнев уезжал в армию, его все называли Егорушкой, а теперь стали величать Егором Павловичем, и он подумал, что пора ему заводить свою семью и свой дом. Георгий Сгибнев женился, а через год жена, Анна Фроловна, родила ему сына.

Сын родился 26 августа 1920 года. Назвали его Петром.

Отец работал, мать хлопотала по крестьянскому хозяйству, а Петра растила бабушка Настасья Степановна. Он забирался к ней на большую теплую печь и слушал сказки про храброго витязя Еруслана, про веселого солдата, который все дороги прошел и всех врагов пересилил, про хитрых и умных зверушек. Еще нянчила Петра девочка Аганя. Она рассказывала ему стихи, выученные в школе и водила на речку Яхрому. Там среди травы копошился, шурша, мелкий муравьиный народец. Аганя собирала цветы и плела из них венки, и теплое дыхание русского поля входило в сердце Петра.

Петр не был озорным мальчишкой. Тихий и задумчивый, он любил слушать бабушкины сказки и стихи, которые читала Аганя, быстро запоминал их сам и повторял потом матери. А из мальчишеских забав полюбил он плавать в реке, а зимою целыми днями мог кататься на салазках: карабкался на обледенелый холм и слетал вниз, через замерзшую реку, и любо ему было, когда быстрота теснила дыхание в груди и ледяной ветер свистел, покалывая щеки.

В 1925 году Георгий Павлович Сгибнев уехал в Ленинград и поступил там на работу — пилить рамы на одном из лесопильных заводов. Анна Фроловна стала работать в Апраксином дворе, в мастерской головных

уборов. Петр оставался в деревне у бабушки до тех пор, пока не настала ему пора учиться.

Когда исполнилось Петру восемь лет, отец увез его в Ленинград.

Петр впервые увидел город. Из трамвая они вышли на Петроградской стороне. Отец нес маленький сундучок с вещами Петра, а мальчик крепко держал отца за руку и удивленно глядел по сторонам. С Финского залива вдоль улицы дул влажный ветер. С Невы доносились разноголосые пароходные гудки и металлический лязг.

Большой хмурый дом выходил на две улицы: на Большую Колтовскую и на Корпусную. В нижнем этаже когда-то была чайная; потом несколько лет этаж пустовал, пока большой, полутемный и закопченный зал не разгородили тонкими фанерными стенами; получилось несколько комнат, и в одной из них стала жить семья Сгибневых. Семья была теперь большая; появилось еще трое детей, и Петр, как старший, нянчил их и воспитывал: сперва брата Николая, потом сестру Шуру, потом маленького Бориса. Придя из школы — отец и мать бывали еще на работе в это время,—Петр собирал малышей и выводил их во двор гулять. Двор был каменный, небольшой и неуютный. Петр не любил этого двора, но и соседние были не лучше. Деревья не росли в этих дворах; от окна к окну всегда тянулись веревки, увешанные сохнущим бельем. Над чердачными окнами виднелся клочок ленинградского белесого неба; оттуда часто доносился во дворы глухой, отдаленный рокот авиационного мотора, и тогда ребята загадывали—увидят ли они эту рокочущую машину, покажется ли она на небольшом квадрате неба, видимом снизу, из колодца двора. Дворы изменялись. После того как Петр прожил здесь лет пять, починили фонтан, и тонкая струя воды текла по вечерам из кувшина, который держал в поднятой руке каменный мальчик с отбитым носом. В углах дворов взламывали цемент, вскапывали газоны, огораживали веселыми зелеными решетками и сажали привезенные откуда-то чахлые

клены. Клены принялись и зазеленели. Эти перемены во дворах Большой Колтовской улицы были малым отражением того, что происходило в ту пору во всем Ленинграде. Город строился, украшался и рос. Петр привык видеть на улицах строительные леса, каркасы новых зданий, возникающие на пустырях, котлованы и устремленные к небу хоботы мощных грузоподъемных кранов. Приходя из школы, ребята попрежнему играли во дворах, только игры у них теперь переменились: они представляли себя арктическими мореплавателями и летчиками, спасали путешественников, затерявшихся во льдах, охотились за белыми медведями, которых изображали многострадальные пестрые лестничные кошки.

В одном из окон первого этажа открывалась форточка, и голос матери прерывал все игры: Петра звали обедать. Когда он появлялся в комнате, там за столом неизменно сидела уже сестра Шура, между Шурой и матерью, на высоком детском стуле, восседал маленький Борис. Тарелка Петра стояла рядом с отцовской, но отца не ждали. Он поздно возвращался с завода и еще учился в школе партработников. Редкие вечера удавалось ему проводить дома, с женой и детьми. Зато всякий такой вечер бывал для Петра словно желанный праздничный подарок. Петру нравилось, что отец всегда разговаривал с ним, как со взрослым, внимательно слушал все рассказы о школьных делах, серьезно вникал в эти дела, давал советы. Еще лучше бывало, когда отец начинал рассказывать сам: он испытал в своей жизни много и умел рассказывать о пережитом. Он говорил о кронштадтских фортах, о том, как била его пушка по вражеским кораблям, о боях с Юденичем, о лесных засадах и разведках, и Петр слушал его с завистью и в детской тоске мечтал о том, чтобы все это еще повторилось для него: и засады, и разведки, и радость добытой победы.

В маленькой комнате хмурого дома на Большой Колтовской жили дружно, в атмосфере того славного доб-

рожелательства, которое бывает в трудовых семьях, где каждый знает цену добытого честной работой хлеба и умеет ценить неомраченный отдых после труда. Нужды в доме не было, но никогда не было и излишков, и это рано приучило Петра серьезно думать о жизни и выбирать свой путь. Сперва он увлекся математикой, не расставался с книжкой Перельмана, решал мудреные задачки, допекал ими школьных товарищей, весело смеялся, когда те бились над формулой, которая для него уже стала прозрачной и ясной. Потом понравилась химия; в квартире появились пробирки, мензурки; Петр разлагал воду, совал горящую спичку в баллон с углеродом — огонь погасал. Постепенно и пробирки были заброшены,— Петр увлекся литературой. читая подряд, запоем Дюма и Драйзера, Диккенса и Роллана, Гюго, Барбюса. Ему нравились французы — изобилие красок, экспансивные характеры, легкая усмешка писателей.

В одну из зим на катке Петр познакомился с группой ребят из другой школы. Разговорились. Новые знакомцы рассказали, как ходят они в Эрмитаж, в вечернюю школу. Петр заинтересовался, тоже стал ходить. Там изучали античный мир. Петр бродил среди греческих богов и римских полководцев. Старые мифы и легенды о былой доблести бронзой зазвенели в ушах. Это были неповторимые годы узнавания мира. Но собственное место в этом мире еще не определялось для Петра, хотя он задумывался о нем все чаще и серьезнее. Он не говорил об этом ни с отцом, ни с матерью, и те тоже не заговаривали со старшим сыном о том, какое дело выберет он для себя; они не хотели торопить его и только старались угадать, кем станет Петр, сделавшись взрослым. Отец представлял его инженером. Анне Фроловне чаще виделся он доктором, — может быть, от того, что она много болела и привыкла верить всесилию врачей, поднимавших ее на ноги. Иногда говаривала Анна Фроловна соседкам, что дети в их комнате растут, «точно клопики по щелям», но говорилось это только оттого,

что мать всегда мечтала, чтобы детям ее жилось лучше, и всеми силами оба они с Георгием Павловичем старались, чтобы ребята и одевались почище, и ели бы посытнее, и учились хорошо, выбирая себе правильное дело в жизни.

Летом детей отправляли из города: к бабушке в Шевелево, в пионерский лагерь — в Лугу, на ягодное приволье, к чистым рекам, под высокое небо. Когда покупали кому-либо из сыновей или дочери новые вещи, в доме точно становилось светлее и праздничнее; отец и мать ходили радостные и шутили с ребятами в такой день веселее, чем обычно, хотя и знали, что после всякой такой покупки рассчитать свой скудный бюджет будет не легко. Как праздник, запомнился Анне Фроловне осенний ленинградский день, когда ходила она с мужем и старшим сыном в универмаг и там купили Петру первое «взрослое» пальто. «Хорошее, — вспоминала она потом, — было пальто, зимнее, с воротником...» Петр надел его тут же; с него оборвали фабричные ярлычки. Георгий Павлович дал сыну приготовленный билет в театр. Петр заторопился прямо из магазина в Александринку, а Георгий Павлович и Анна Фроловна, вдвоем, пошли домой по Невскому. Шли и думали, что вот вырастили они сына, скоро вылетит он от них в свою отдельную жизнь, и отец с матерью сделали все, чтобы он правильно начал этот свой самостоятельный полет.

А Петр и вправду мечтал о полете, и вовсе не в переносном смысле: он уже решил, что станет летчиком.

Юность его совпала с эпохой славных дел нашей авиации.

Сперва весь школьный класс повторял странные и зовущие названия: Ванкарем, Анадырь, Сердце-Камень — места, откуда первая семерка героев летала на челюскинскую льдину. Затем Водопьянов с товарищами садились на Северном полюсе. Потом и Петра, как и всех, ослепили сверкающие параболы, очерченные над северным полушарием Чкаловым и Громовым. Коккинаки

взлетал ввысь, авиационный мотор из вечера в вечер рокотал в голубоватой полумгле кинозала, портреты летчиков глядели с газетных страниц, летчики были героями театральных пьес. На голубые петлицы встречных лейтенантов восхищенно глядели, проходя по улицам, все сверстники Петра Сгибнева, и едва ли не все они мечтали о том, чтобы увидеть такие же петлицы на собственных воротниках.

Когда до окончания школы оставался всего лишь год, Петр объявил дома о своем решении быть летчиком. Он сказал об этом уже после того, как подал заявление в Приморский аэроклуб, прошел все испытания и был принят в число учлётов. Его не хотели принимать, но он дал подписку, что это не помешает школьным занятиям и что он будет учиться только на «отлично».

Вскоре он взлетел с инструктором и увидел море, похожее с высоты на бескрайный лист мятой фольги, тускло поблескивающей под солнцем. Корабли, яхты и катера, разбросанные по этой фольге, словно остановились без движения. Над городом машину побалтывало в струях неровно нагретого воздуха; над морем она пошла спокойно в стремительном и прямолинейном полете. Инструктор опустился пониже, вода стала темнеть, корабли увеличились, и возле каждого был виден застывший, словно бы остановившийся бурун у форштевня — единственный признак движения, не различимого с самолета.

Потом они опять прошли над городом, и Ленинград открылся перед Петром весь сразу, словно оживший план, — с теплым дымом жилья над вычерченными, не похожими на настоящие домами, с ползущими точками трамваев и троллейбусов, с муравьями-пешеходами на схемах улиц.

Год спустя он окончил школу и уехал в Ейск, в училище, чтобы стать военно-морским пилотом, а оттуда снова вернулся в родные края.

И снова Ленинград летит под крылом, и неровно нагретый воздух привычно побалтывает машину.

2

Впервые Петр увидел море вскоре после первого своего приезда в Ленинград из Шевелева. В один из выходных дней отец повез его на острова. Косые белые паруса яхт бежали над зеленой водою. Волны, шурша, приходили на лежащую гальку. Нежаркое солнце стояло в небе, а между солнцем и водою скользил, — казалось, очень медленно, — большой поблескивающий самолет. Это было очень красиво, и хорошо было вспоминать обо всем этом сейчас, в спокойном свободном полете. Может быть, и теперь тоже какой-нибудь подросток там, на островах, услышал рокот мотора, поднял вверх лицо и смотрит, как летит между морем и солнцем лейтенант Петр Сгибнев на своей «Чайке». И подростку тоже кажется, как казалось когда-то Петру, что самолет парит очень медленно, а Петр в это время здесь, в машине, подставляет лицо под ветер, и ветер сечет кожу, ударяется об очки, и в этой мощи встречного ветра, свистящего между расчалками, в ровном гуденье мотора ощущается и скорость полета и собственная сила — то, что всегда приносит Петру чувство острой радости, повторяющееся в каждом новом полете и не блекнущее с течением времени.

Сгибнев вел машину, а внизу, под крыльями «Чайки», лежал Ленинград — город, где окончилось его детство и началась юность. И, скрытый портовым дымом, стоит там, на углу Большой Колтовской и Корпусной улиц, родной дом; в первом этаже по-прежнему хлопочет мать, поджидая к обеду возвращения Бориса из школы, — ему теперь тринадцать лет, и он ходит в пятый класс, а сестре Шуре — семнадцать, и, может быть, завтра, в выходной день, она приедет повидаться со своим старшим братом. Она приезжает обычно с шумным и веселым выводком своих подружек, и они отправляются тогда гулять, уходя от аэродрома и поселка в негустой ельник, прогретый скупым солнцем ленинградского июня...

Самолет был в воздухе уже долго, пора было возвращаться. Сгибнев заложил неглубокий вираж, и правое крыло накренилось к земле, чертя стремительный поворот над знакомыми улицами, каналами и домами. Вскоре город остался позади и совсем исчез из виду. «Чайка» начала терять высоту. Теперь видны были привычные ориентиры: быстро вырастающая красная кирпичная труба завода, роща, телеграфные столбы, озерки, шоссе — близко, почти под колесами. Потом толчок, пробег, рулетка, мотор выключен, тишина...

Чувство возвращения было таким же неизменно радостным, как и взлет. Хорошо было выпрямиться, снять шлем, размять ноги. Хорошо было снова перекинуться шутками с товарищами. Хорошо было летать, иметь двадцать один год за плечами и всю жизнь впереди и строить эту жизнь, как хочется: в силе, в труде и в радости!

Дневные полеты теперь были не частыми у Сгибнева. В последние месяцы его звено было назначено в отряд «ночников». Там подобрался в большинстве опытный народ; у них уже была боевая сноровка, добытая в финской кампании. Имена командиров, с которыми встретился там Сгибнев, хорошо знала Балтика: Нефедов, Денисов; молодые по возрасту люди, они были старыми, опытными и, можно сказать, прославленными летчиками.

Когда отец при редких встречах с Петром спрашивал, как осваивается он в своей новой среде и как дается ему облюбованная им специальность, Петр говорил: «И легко, и тяжело». И объяснял, что легко, так как кругом предостаточно опытных и умелых людей, на чью помощь он мог бы рассчитывать, а тяжело оттого, что не всегда поспеваешь за этими опытными руководителями и товарищами.

Работать ему приходилось много. Но много работать Сгибнев умел, и скоро он стал среди ночников тоже не последним.

Истребителю в ночном полете приходится гораздо труднее, чем бомбардировщику.

Истребитель — один. У него нет штурмана. Он должен полагаться сам на себя, никто не подменит его, никто не прокорректирует его расчетов. Весь полет проходит в неослабном напряжении. Чудится много обманов; реальный противник может легко остаться незамеченным и подкрасться исподтишка. Очень утомляются глаза, то глядящие на освещенные приборы, то вглядывающиеся в ночную мглу. Предательски изменяют свои очертания привычные ориентиры. Нелегко освоиться с полетами в слепящих лучах прожекторов. Прожектор — друг, когда он помогает найти неприятеля, но он же — злейший враг, когда яркая полоса света, словно сабельным ударом, бьет по глазам, и все приборы вдруг растворяются в этом слепящем сверкании, и даже физическое ощущение полета становится тогда зыбким, обманчивым, беспокойным. Сложны первые посадки при фонарях, на тускло освещенную землю, которая внезапно оказывается куда ближе, чем секунду назад рассчитывал летчик.

Ко всему этому привыкали, привык и Петр Сгибнев. И дневной полет, когда на приборы можно было поглядывать лишь изредка и земля лежала внизу, ровно освещенная, одетая в теплую летнюю зелень, изрезанная течением прозрачных рек, — такой полет был для него отдыхом, точно прогулка на велосипеде в выходной день.

Вечером Сгибнев пошел в клуб.

Было совсем светло, еще стояли в ту пору белые ночи, солнце почти до полуночи не уходило с неба. Громкоговоритель со здания клуба сперва передавал музыку, а когда Петр подошел ближе, музыка окончилась и диктор стал читать телеграммы из-за границы. Он говорил о бомбах, сброшенных на Вестминстерское аббатство, о боях в Месопотамии, о моточастях в Фермопильском проходе, о крушении государств, о страшных спазмах

войны, сотрясающих всю землю, вплоть до самых забытых и укромных уголков ее.

Здесь война казалась далекой, — особенно далекой в этот спокойный вечер, когда небо было полно скрытого мягкого света, розовые облака шли вверху и отражались в оконных стеклах, в клубе уже заиграла музыка, и слова диктора то заглушались музыкой совсем, то слышались снова — отрывочные, лишенные связи и вовсе посторонние.

Сгибнев готовил себя к войне и ожидал ее. Он не раз мечтал о настоящем бое, о жаркой схватке с врагом и трудной победе. Но когда он пытался представить себе, как это произойдет, ему казалось, что для того, чтобы увидеть войну, он должен будет совершить большое и долгое путешествие в какие-то неведомые дальние края, а уж там вылетит он в свой первый бой. Казалось невероятным, чтобы этот бой произошел здесь же, в этом привычном, уютном небе, что война придет сюда и бомбы обрушатся на спокойную, ласковую землю, согретую июньским теплом и счастьем живущих на ней людей.

В клубе был концерт. Певица, приехавшая из Ленинграда, пела арию Кармен; потом вышел на сцену высокий худощавый скрипач, сам неуловимо похожий на свой инструмент, и было забавно глядеть, как он долго и сосредоточенно расстилал носовой платок на своем плече, потом прижимал к скрипке подбородок, снова отводил скрипку и перекладывал платок, а потом он заиграл, и забавная возня с платком сразу забылась, осталась только музыка и завладела всем залом, переполненным летчиками — молодыми ребятами, одетыми в черную парадную форму, и девушками в светлых летних платьях.

А потом вышли в фойе. Клубный джаз заиграл, и первые пары вошли в круг расступившихся людей. Сгибнев хотел войти в этот круг, но тут в дверях появился боец и объявил, что командование срочно вызывает весь летно-технический состав.

Музыка продолжала играть. Несколько девушек и

мужчин в штатском еще танцовали в поредевшем кругу. По боевой тревоге, одетые в парадную форму, еще разгоряченные прерванным танцем, явились летчики на аэродром к своим машинам. Заревели моторы, но все самолеты оставались на земле, и никаких новых приказаний не поступало. Не один из летчиков досадовал в те минуты, полагая, что это обычная учебная тревога, совершенно излишняя в такой отличный вечер.

Но тревога не была учебной: в ту ночь началась война.

3

На четвертый день войны Петр Сгибнев и его товарищи были назначены на остров Эзель.

Минувшие три дня прошли в непрерывной боевой страде. Спали урывками в землянках, неподалеку от машин, но этот крепкий сон то и дело прерывали тревоги. У Петра было уже много вылетов, — он барражировал над базой флота, летал на разведку. Несколько раз тревога заставала его на земле, самолеты не успевали подняться в воздух, бомбы отрывались от немецких пикировщиков и с воем неслись к аэродрому; нужно было торопиться в щель, вырытую в стороне от старта, или падать в траву, и в такие минуты отвратительным было собственное бессилие, сознание того, что сам ты ничего не можешь поделать с этими машинами, которые бросают бомбы на твой аэродром, метят в твой самолет, стреляют по тебе из пулеметов и пушек. Другое дело — в воздухе! Но в воздухе у него еще не было ни одной непосредственной встречи с врагом.

На Эзеле дела стало куда больше, чем в первые дни. Машин здесь было немного и аэродром небольшой, а немец изо всех сил стремился на этот каменистый клочок земли, торчащий из балтийской воды, и нужно было все время быть на-чеку. Сгибнев снова вылетал на барраж, в разведку, на штурмовку наземных целей. Он летал днем и ночью, искал в море караваны немецких су-

дов и наводил на них наших бомбардировщиков, наведывался в базы германского флота и высматривал, что делается там, у пирсов, выслеживал немца в воздухе, засекал расположение вражеских батарей. Специально готовивший себя для морской войны, он хорошо знал тактику флота, увлекался ею и умел безошибочно распознавать типы немецких кораблей. Разведка нравилась Сгибневу, но трудно было смириться с тем, что разведчик должен был избегать встречи с врагом, уклоняться от боя, чтобы сохранить и передать командованию результаты своего разведывательного полета. По характеру Сгибнев был настоящим истребителем. Черты такого характера сухо и точно определены в боевом уставе истребительной авиации:

«...быть смелым, решительным и инициативным (эти слова напечатаны в уставе жирным шрифтом) и с хладнокровной уверенностью в своем превосходстве поражать противника...»

«Всегда искать боя» — к этому-то и стремился Сгибнев больше всего, а боевая работа предписывала ему осмотрительность, осторожность, игру в прятки с противником.

К шестому июля количество вылетов сгибневской «Чайки» достигло семидесяти четырех. Сгибнев повел свою машину в семьдесят пятый. В тот день немцы проводили к одному из своих портов караван. Шло около шестидесяти вымпелов. Их прикрывали два десятка военных кораблей.

Караван разделился на две группы. По основному — большому — фарватеру шли суда покрупнее. Вторая группа состояла из более мелких судов и пробиралась по другому — рыбачьему — фарватеру. Атаковать эту вторую группу было поручено девятке истребителей.

К самолетам подвесили небольшие, стокилограммовые, бомбы, и с этим грузом они поднялись в воздух.

Три звена шли к цели строем клина. В этом клине звено Авакьяна шло левым, а Сгибнев летел левым в

своем звене. Перед бомбардировкой самолеты должны были перестроиться в правый пеленг, чтобы машины могли заходить на цель последовательно одна за другой. При такой перестройке самолет Сгибнева становился замыкающим.

Дожидаясь своей очереди итти на бомбежку, он выбирал цель. Большая самоходная баржа была под ним на мелкой балтийской волне. Зенитки германских военных кораблей уже стреляли во-всю. Сгибнев видел, как там, над палубами, вспыхивают желто-красные огоньки. Разрывы ложились далеко. Сгибнев послал свои бомбы книзу; облегченный самолет качнулся, набрал высоту. Сгибнев выглянул за борт кабины, поглядел на море и вдруг увидел, что прямо под его бомбу подвернулся немецкий торпедный катер, шедший в числе конвойных кораблей. Прямое попадание. Катер перевернулся и стал тонуть. Сгибнев снижался, вглядываясь в то, что происходило на воде: там к тонущему катеру спешили другие суда. Тем временем истребители, отбомбившиеся прежде, снова строились в клин и уходили.

Сгибнев отстал.

Теперь на нем одном сосредоточила свой огонь вся артиллерия конвоя. Главный калибр бил шрапнелью, и три разрыва вспыхнули совсем близко от самолета. Петр Сгибнев стал набирать высоту. Вдруг инстинктивный внутренний толчок заставил его обернуться: звено «Мессершмиттов» заходило на него от солнца.

Высота — семьсот метров. Облачности нет. Солнце светит. И солнцем уже успел воспользоваться немец; нужно теперь отвоевывать у него выгодную позицию.

Вот он и пришел — первый настоящий бой.

И, как ни готовился Сгибнев к этой минуте, он все же почувствовал себя застигнутым врасплох. На память пришло то, чему его учили: возьми ручку на себя доотказа, дай ногу на педаль, тоже доотказа, и вертись, вертись, сколько можешь! Он сделал все это с ученической

точностью: взял на себя штурвал, «дал пожку» что было силы и завертел машину.

«Чайка» вступила в бой с тремя «сто девятыми».

Спокойная, уверенная собранность, которая бывала у Сгибнева в учебных боях, не приходила теперь, как ни старался он вернуть себя в привычное состояние. «Да что же это, струсил я, что ли?» подстегивал себя Петр. Но страха у него не было, мешало другое: он не был уверен в том, что правильно ведет себя и делает именно то, что нужно. Настоящий бой оказался слишком не похожим на тренировочные схватки; было трудно разобраться во всем, что происходило вокруг.

Немцы стреляли. Небольшие черные дыры беззвучно возникали в плоскостях, и оборванный перкаль дрожал на ветру. Сгибнев нажал рычаг своего пулемета, дал очередь. Почти в ту же секунду что-то толкнуло его в левую ногу, обожгло; горячая кровь потекла по коже и стала быстро накапливаться в сапоге. «Все! — подумал Сгибнев. — Отлетался!» Он сорвался в штопор, метрах в двухстах от земли выровнял машину, снова полез вверх. Он знал: выходить из боя сейчас нельзя. Выход — самое опасное и сложное дело, тут непременно собьют. Нога не болела, только кровь текла и текла из раны, собираясь в размокшем, хлюпающем сапоге.

Труднее всего было удержать в поле зрения все три вражеские машины. Едва начинал Сгибнев охоту за кем-нибудь из немцев, вертясь вокруг него, защищая бока и лоб своей машины и изо всех сил стараясь вцепиться в хвост «мессера», как вдруг оказывалось, что другой неприятельский летчик подобрался сзади или зашел снизу и уже строчит из пулемета, стреляет из автоматической пушки, и нужно обмануть его, бросая машину в штопор или делая другой стремительный маневр. И Сгибнев снова рывком брал на себя ручку, толкал ногою педаль, и самолет вертелся, воздух завывал, немецкие машины пропадали из виду, а потом вдруг снова оказывались совсем близко. Один из «Мессершмиттов» появился после

ИСТОРИЧЕСКАЯ

такого маневра перед самым носом у Сгибнева. Петр хотел пойти на немца встречным курсом, прямо в лоб, — кто выдержит, тот и победит. Но было уже поздно: «Мессершмитт» проскочил рядом, и Сгибнев едва успел нажать гашетку. «Сто девятый» сразу исчез из виду, точно провалился. Это произошло на небольшой высоте, и Петр снова потянул свою «Чайку» кверху. Машина плохо слушалась, тяжело шла, немец что-то повредил в ней, но летчику трудно было еще разобрать, что случилось с его самолетом. Нога уже начала болеть, и боль усиливалась теперь с каждой секундой. Набирая высоту, Сгибнев заметил, что в него не стреляют больше. Он не сразу сообразил, в чем дело. В воздухе попрежнему было три машины, но теперь они отдалились и кувыркались там, поодаль, точно дрались между собою. Одна из этих машин показалась Сгибневу слишком знакомой, не похожей на «сто девятый». Он потянул свой самолет туда и вгляделся. Это была «Чайка» Авакьяна. Командир звена заметил отсутствие лейтенанта Сгибнева и возвратился на поиски. Вслед за самолетом Авакьяна пришли еще две «Чайки». «Мессершмитты» — их было два теперь — воспользовались своим преимуществом в скорости и скрылись.

Под прикрытием товарищей Сгибнев повел свою машину к аэродрому.

Машина шла, неуклюже вихляя, заваливаясь книзу и с трудом выпрямляясь снова. Последние секунды полета оказались самыми трудными. Так выбивающийся из сил пловец делает последние взмахи с мучительной мыслью: «Не доплыву, пропал», — и вдруг прибрежный песок оказывается под его теряющими силу ногами. Маленький пятачок аэродрома показался внезапно, когда Сгибнев уже думал, что не дотянет машину. Снижаясь, лейтенант увидел покатые горбы капониров по краям посадочной площадки. К старту, пыля, мчался автомобиль: санитарная машина спешила навстречу сгибневской «Чайке», уловив в тяжелом ее полете предвестие воз-

можной беды. Самолет в последний раз накренился носом к земле, выровнялся и сел на три точки.

Сгибневу помогли выйти. Оказалось, что только прочный каблук сапога спас ему ногу. Один из немцев обстрелял «Чайку» снизу из своей автоматической пушки. Небольшой снаряд разорвался в днище кабины пилота, каблук был весь разворочен, но в пятке застряло лишь несколько осколков, кость была цела; куски рваной стали вытащили быстро. Однако пока затянутся раны и восстановятся силы после потери крови, Сгибневу нужно было отлежаться в госпитале.

Лежа в палате, Сгибнев узнал о результатах штурмовки немецкого каравана. Оказалось, что девятка истребителей потопила тринадцать фашистских кораблей.

Об этом рассказали приятели, зашедшие навестить лейтенанта.

Они сказали еще, что в воздушном бою был сбит «Мессершмитт» и до сих пор не удалось еще выяснить, кто же именно сбил этого немца.

Петр вспомнил «сто девятый», проскочивший мимо него вплотную на встречном курсе, вспомнил свою пулеметную очередь и то, как исчез после этого немец, будто растворился в воздухе. Но товарищам Сгибнев не сказал ничего, потому что еще не мог себе представить, как с одной пулеметной очереди можно сбить машину, да к тому же самому этого почти не заметить.

Первый бой наступил и прошел. Осталось от него путанное, сумбурное воспоминание о том, как вертелся в воздухе его самолет, как жарко было лицу близ раскалившегося от ненужно длинных очередей пулемета, как пришли в бою самообладание и ясность, как ушел он от смерти, которая казалась неминуемой и которую все-таки, выходит, можно, умеючи, победить.

В госпитале он пролежал несколько дней, отпросился, почти убежал от врачей и вернулся на аэродром, к своей машине.

...Однажды в сумерках Сгибнев вышел на разведку. С ним в паре шел лейтенант Тхакумачев. Над облачной ватой они прошли к немецкому порту, пробили облака и увидели корабли, стоящие на рейде и у стенки. Об этих кораблях не было известно у нас; они прошли незамеченными, и нужно было теперь не дать им уйти отсюда. Сгибнев и Тхакумачев легли на обратный курс, торопясь с донесением. Однако не успели они набрать высоту и скрыться вновь в облака, как на них вышли четыре «сто девятых»; они вылетели наперехват нашим истребителям и подстерегали их у кромки облаков.

Уйти без боя нельзя было. Сгибнев и Тхакумачев, не сговариваясь, одновременно пошли на сближение с «мессерами». Тхакумачев сбил один из них, но другой зашел сзади и стал делать горку, чтобы атаковать Тхакумачева сверху. Сгибнев улучил момент и сбил немца длинной очередью. На этот раз он увидел, как за машиной потянулся дымок, потом он почернел и стал гуще, потом из плоскости рванулось пламя, и самолет закувыркался, проваливаясь к земле. Но долго смотреть нельзя было, нужно было драться, и Сгибнев не увидел падения вражеской машины. Тхакумачев воспользовался коротким замешательством оставшихся немцев и вырвался в облака, спеша доставить результаты разведки. Сгибнев не знал, в каком положении уходит из боя Тхакумачев; он верил, что у товарища были достаточные причины для того, чтобы оставить его одного против двух противников. Но сознание правоты товарища не облегчало положения Сгибнева: он должен был вести тяжелый, неравный бой на подбитой, плохо слушающейся машине. Теперь он вполне владел собою, следил за противником и рассчитанно управлял всеми своими движениями. Задач было две: прикрывая отход Тхакумачева, отвлечь все внимание немцев на себя, а во-вторых, нужно было, ведя бой, заманивать немцев, завлекать их на свою территорию,—уж если собьет, то пусть над своею

землей, тогда все-таки есть надежда... Кровь проступила на рукаве комбинезона. Не отнимая правой руки от штурвала, Сгибнев левой ощупал рану. В общем ерунда. Поцарапало осколком. Машина была ранена тяжелее: четыре цилиндра были разбиты прямым попаданием снаряда. Однако тянуть еще можно. Драться тоже можно пока. Но боезапас уже на исходе. Еще бы десять минут!.. И тут вдруг «мессеры» отвалили и легли на обратный курс. То ли вышло у них горючее, то ли разгадали они игру Сгибнева и заметили, что зарвались чересчур далеко.

Лейтенант Сгибнев посадил машину на ближний аэродром, — до своего уже дотянуть было нельзя. Зажимая рану на правой руке, он вылез из кабины и сразу пошел рапортовать о том, что видели они с Тхакумачевым в германском порту. Через пятнадцать минут над его головой зарокотали наши бомбардировщики. Они шли к юго-западу, в тот порт, откуда только что возвратился Сгибнев. Шли бомбить фашистские транспорты.

Теперь уже Петр без зависти расспрашивал товарищей, вышедших из боя с победой. Его самого обступали друзья, едва сажал он свою машину на землю, выполнив задание, и Петр хорошо уже знал, как это бывает: хитришь, выжимаешь скорость, стараешься во всем опередить противника, не допускаешь ни на секунду, чтобы самолет шел по прямой, — горка сменяется штопором; выйдя из пике, лезешь опять кверху; то правый вираж, то левый; иммельман; короткий полет кверху колесами; снова горка... И жмешь, жмешь гашетку... И нога будто прирастает к педали... И масло брызжет в кабину... И стрелка на указателе горючего неуклонно ползет книзу; ты думаешь: хватит ли тебе до аэродрома? — а стрелка падает снова и снова, это всегда так бывает, и кажется, что горючего ни почем нехватит, а ты приводишь машину и садишься, когда стрелка уже остановилась неподвижно, точно произошло чудо, и

самолет идет без горючего, на одной лишь инерции... И вся машина изрешечена, как сито... И вдруг — победа!

Он писал в Ленинград родным. Сестра отвечала: отец ушел в народное ополчение и уже отправлен на фронт. Брат Николай уехал на фронт на другой день после отъезда отца. Он — в танковой части. В комнате на Большой Колтовской остались мать, Шура и маленький Борис.

Летать приходилось и ночью и днем. В одном из ночных вылетов командир эскадрильи Авакьян повел Сгибнева и Шитова в атаку на немецкий эсминец.

Командир показал тогда класс рассчитанной, прицельной бомбежки. Бомба Авакьяна угодила в корму, прямо в боезапас. Фашистский корабль взорвался и затонул. Это произошло мгновенно: вспышка над водою, столб пламени, и сразу — пустое черное море внизу, точно там ничего и не было, и корабль, виденный три минуты назад, лишь померещился утомленному глазу летчика.

На второй сотне вылетов, после десятка боев, к Сгибневу пришла полная уверенность в своих силах. Это было хорошее чувство, но ему нельзя давать разрастаться. Чрезмерная самоуверенность делает истребителя индивидуалистом. Он начинает пренебрегать взаимодействием с товарищами, отказывается от их поддержки. «Мне все нипочем», кажется ему тогда. Начинало казаться это и Сгибневу. О нем уже хорошо говорили в эскадрилье. Знали его сноровку и упорство в бою. И он начал все чаще и чаще искать схваток один на один, уходил в воздухе от товарищей, обшаривал облака, оглядывал горизонт, забирался неосмотрительно далеко в неутомимой жажде боя, казавшегося ему единственно достойным истребителя. В одном из таких азартных охотничьих поисков Сгибнев увидел силуэт «сто девятого». Он пошел к нему осторожно, стараясь не спугнуть, не быть замеченным прежде времени. Посчастливилось начать заход от солнца. Сгибнев прятался в

слепящем свете, сближаясь с противником, и когда, наконец, скрываться больше не удавалось и немец обнаружил «Чайку» — дистанция была невелика и уйти «Мессершмитту» уже нельзя было, Сгибнев начал нелюбленный маневр: рванулся прямо в лоб, заставляя немца отвернуть и подставить под автоматическую пушку уязвимые места своей машины. Но немец попался опытный и с характером. Он принял атаку на встречных и тоже пошел на Сгибнева в лоб, отвечая на выстрелы выстрелами. «Асс!» подумал Сгибнев. И, странное дело, он почувствовал себя таким собранным и спокойным, как ни в одном из предыдущих боев. Это похоже было на тренировочный поединок. Они неслись навстречу один другому: расстояние сокращалось стремительно. Немец все не отворачивал. «Хорошие нервы», оценил Петр, продолжая итти по прямой. Выстрелы были не страшны. В лоб «Чайку» взять трудно. Самолеты сближались, бой входил в рискованную фазу. Немец шел неуклонно. Сгибнев тоже. Лишь тогда, когда столкновение становилось неизбежным и винт вот-вот должен был врезаться в другой винт, — немец отвалил немного вправо, Сгибнев взял влево. Стрелять на повороте не мог уже ни тот, ни другой, но самолеты сблизились уже настолько, что удар все же прозвенел: машины ударились плоскостями. Сгибнева сильно толкнуло, и он почувствовал, что его «Чайка» содрогается, словно в жестоком приступе лихорадки. Сдержимая крепящийся самолет, Петр успел заметить немца. «Мессершмитт» распадался в воздухе на отдельные охваченные пламенем куски. Эти огненные клочья проваливались вниз. «Чайка» держалась, не теряя высоты. Сгибнев попробовал разобраться в повреждениях, которые получил его самолет. Передний узел был выбит, и плоскость держалась лишь на расчалках и на заднем узле. Один из элеронов был заклинен и не слушался. Машину трясло и шатало. Но все же она продолжала полет, и ею можно было управлять, хоть и с трудом. «Живой!» решил Сгибнев.

«Живой!» повторил он еще раз убежденно и торжествующе. И впрямь, машина доковыляла, и он сел на аэродром, снова удивив всех.

Эта трудная победа, которая, казалось, зависела от случайного счастья в такой же мере, как и от умения, заставила его стать осмотрительнее и строже к самому себе. Так — ценою смертельного риска — вырабатывалась у него лётная зрелость.

Оставаться на Эзеле становилось все труднее. Линия фронта удалялась к востоку, остров оставался во вражеском тылу, но гарнизон держался. С моря враг не мог подойти, оборона была крепкая, но немцы усилили артиллерийский и минометный обстрел с ближних подступов; их авиация непрерывно прорывалась на штурмовки маленького аэродрома, и треск пулеметных очередей, скрежет пикирующих бомбардировщиков, визг летящих мин, вой падающих авиационных бомб и разрывы — оглушающие разрывы всех этих мин, бомб, снарядов — стали бытом аэродрома, как ни дико звучит такое слово, как «быт», в применении ко всему этому дикому торжеству смерти, сопровождаемому непрерывным громом и мрачным фейерверком огня.

Осень была хорошая, стояли солнечные дни, и в перерывах между штурмовками, обстрелами, боями люди замечали, как летает в прозрачном воздухе тонкая паутина и как желтеют листья берез вокруг аэродрома. Хорошая осень была страдной порой для летчиков: всякий день был лётным и не давал отдыха.

В один из таких дней разведчики увидели в Ирбенском проливе два танкера в сопровождении конвоя. В атаку на танкеры вышли торпедные катеры. Звено истребителей должно было прикрывать атаку с воздуха. Это было звено Сгибнева. Над проливом на них налетела девятка «Мессершмиттов». Начался бой. На поддержку «Чайкам» пришло еще звено. Бой протекал относительно спокойно: и наши самолеты и «мессеры» ходили двумя замкнутыми кругами; в каждом кругу машины, при-

крывая друг дружку, постреливали без результата. «Мессершмитты» не проявляли особой охоты к серьезной схватке. «Чайки» довольствовались тем, что выполняют свою основную задачу: отвлекают вражескую авиацию от катеров, действующих внизу. Но вдруг в Сгибневе проснулся старый озорной зуд. Он оторвался от своих, начал набирать высоту, полез вверх. И пока остальные ходили, продолжая постреливать и оберегая себя от нападения «мессеров», Сгибнев наметил одного немца и обрушился на него, вызывая на схватку.

Он снова начал с лобовой.

Один раз машины проскочили одна мимо другой, чуть не впритирку.

Сгибнев начал вторую атаку, и немец снова принял ее. Сгибнев нажал гашетку первым. Немец ответил. Они шли навстречу один другому так же упрямо, как в первой схватке с немецким «ассом». И вдруг немец резко отвернул в сторону. «Готов!» торжествующе подумал было Сгибнев и приготовился стрелять. Но немец оказался хитрее. Стремительным маневром он вывернулся и ударил из автоматической пушки по мотору сгибневской «Чайки». В кабину сразу брызнули масло и бензин. Едкий запах перебил дыхание и защекотал в горле. Ударом воздушной волны с Петра сорвало очки, и ветер больно резнул глаза. Наклоняясь за козырек, Сгибнев успел подумать: «В глаз попало. Вытечет глаз...» Но он еще видел. Видел плоскость своего самолета и ползущее по ней пламя. Правда, все заволакивалось туманом; бензин и масло били теперь фонтаном, заливая глаза. Сгибнев протирал веки, отрывая руку от сектора газа, но едкая жидкость тотчас брызгала снова. Петр отстегнул ремни, но тут же вспомнил: высота достаточная, девятьсот метров, выбрасываться можно, но внизу — море... Попадешь в воду или расстреляют в воздухе, прежде чем успеешь потонуть... Он остался в кабине. Стало жарко от подбирающегося ближе огня. Самолет еще слушался. Петр с удивлением убедился в этом. Проверяя себя,

стал скольжением сбивать пламя. Удалось. В глазах становилось вовсе темно, потом вдруг появлялся мглистый просвет, и неясно вырисовывались очертания предметов. В секунды одного из таких просветов он поглядел вниз и вместо желтовато-зеленой морской воды вдруг увидел темную лесную зелень.

«Эзель, — решил Петр. — Дома!»

Но тут снова тьма застлала глаза. Он не успел проверить себя и наощупь, лишь памятью контролируя свои движения, стал заходить на посадку. Точнее, он просто бросал машину навстречу угадываемой земле, постепенно сбавляя скорость. Машина опять горела. Пламя добиралось в кабину, опаляло лицо. «Чайка» рухнула в лес, срезая верхушки берез. Сгибнев был уже без сознания в тот миг. Толчком его выбросило из кабины и швырнуло в болото.

Он не почувствовал этого.

4

Много часов спустя Петр Сгибнев очнулся от тупой боли, пронизывающей все тело. Было темно. Хотелось пить. Рука Петра касалась воды. С трудом повернул он голову, дотянулся до воды губами и тотчас сплюнул: вода была противная, болотная. Вдруг посветлело, зрение вернулось к Сгибневу. Он увидел траву, березы, небо. Поодаль березы почернели, обожженные пожаром. Вероятно, там догорела его «Чайка». Вслед за зрением возвратилась память. Он вспомнил бой, горящий самолет, падение.

«Когда это было?.. Час назад? Вчера? Еще раньше?..»

Он не знал, где лежит. Действительно ли это Эзель? Может быть, он упал на вражеской земле?

Петр отстегнул кобуру, приготовил револьвер — на всякий случай.

Ему захотелось поглядеть на себя, и он вспомнил, что в кармане у него было зеркало. Стал искать, нащупал

лишь битое стекло. «Все равно, ладно. Чорт с ним!» Он стал ощупывать себя руками. Левая рука окровавлена и болит. Пробита насквозь. Ноги в порядке, но подняться нельзя. Тело не слушается. На щеке запеклась кровь. «Откуда?» Рану он не смог найти.

Больше всего беспокоили глаза. Их опять начала заволакивать мгла.

Уже проваливаясь снова в черную темноту, Сгибнев успел заметить, как на прогалине среди берез появилась девушка-подросток. Она остановилась и смотрела на летчика испуганными глазами. Волосы у нее были светлые, заплетенные в две точные косы. Она подняла руку ко рту, словно для того, чтобы сдержать готовый сорваться вскрик. По одежде Сгибнев угадал в ней эстонку. Он знал несколько эстонских слов и, с трудом собрав из них фразу, спросил, где он находится. Девушка ничего не ответила. Петр услышал, как она бежит прочь по лесу, ломая ветки. Видеть он больше ничего не мог: в глазах потемнело, все ушло в непроглядную ночь. Сгибнев начал в отчаянии протирать глаза. Он тер их что было мочи, но это не принесло ничего, кроме боли. Он еще раз подумал, где же лежит он — на своей земле или у финнов, — и снова потерял сознание.

Второй раз он очнулся от громких голосов, доносившихся из рощи. Говорили по-русски. Он не разбирал слов, ничего не видел. Только слышал русскую речь и мучительно боялся, что его не заметят, не подойдут, пройдут мимо. Он крикнул и одновременно, подняв пистолет, выстрелил вверх.

В роще закричали громко:

— Он стреляет. Немец!

И чей-то звонкий голос:

— Гранатой, гранатой его давай!

От боли, голода, утомления Петр соображал плохо. Он знал, что должен сейчас что-то сказать им, но нужные слова не приходили. Он почувствовал вдруг, что

на него набросились сзади, схватили за руки. Тот же голос, что кричал про гранату, сказал со злой веселостью:

— Ага, попался, фриц!

Петр выругался.

— Ого, — сказал другой голос.—Это не по-немецки...

Руки отпустили. Только пистолет забрали из онемевших пальцев. Наощупь Петр достал комсомольский билет. Открыл, не выпуская из рук. Голоса стали ласковыми. Кто-то спросил:

— Ты что, не видишь, парень?

— Не вижу, — сказал Сгибнев.

Он думал только об этом, только о своих глазах, о внезапной слепоте. Даже не спросил, кто нашел его, с кем он говорит.

Чьи-то руки подняли его. От боли Петр потерял сознание опять.

В госпитале он бредил. Ему мерещились немецкие транспорты,—что вот идут они в свои порты, и никому до этого дела нет, никто не вылетает, чтобы потопить их. «Сволочи! — кричал Петр. — Воевать не умеете. Караваны идут!» И снова затихал, проваливаясь в черную пустоту. Однажды, очнувшись, он потрогал свои глаза и нащупал плотную повязку. Рывком сорвал он эту повязку, широко открыл глаза и ничего не увидел. От ужаса он заплакал.

Прибежала сестра, начала торопливо надевать сорванную повязку, а Петр отталкивал ее руки и повторял, что ему ничего не нужно, что слепым он все равно жить не будет. Что толку в слепом летчике?!

Сестра говорила спокойным голосом:

— За что вы меня бьете, больной?

Спокойствие сестры удивило его, и он затих. Сестра сделала свое дело и принялась объяснять, что повязку срывать нельзя и что нервничать нельзя тоже: от этого ему будет хуже; а если он будет послушным и хорошо будет вести себя — зрение возвратится.

— Я буду видеть? — веря и не веря, спросил Петр.

— Будете, — сказала сестра.

Петру хотелось поверить, и он поверил ей.

Сознание уходило и возвращалось снова. Он продолжал бредить, в бреду снова срывал повязку, кричал, требуя револьвер, ругался, не обращая внимания на сестру. Приходя в себя, просил прощения, лежал тихо, молчал.

К нему пришел его старый друг, техник Андросов.

— Что там? — спросил у него Сгибнев.

Андросов понял, что он говорит об аэродроме, стал рассказывать. Говорил о том, как живут в землянках, над кем теперь шутят. Промолчал о новых убитых Стал рассказывать о фронтовых делах, но тоже скупо, умалчивая о многом. Дела были трудные. Стоял сентябрь 1941 года. Немец двигался по украинским степям. На западе пал Смоленск. Враг подошел вплотную к Ленинграду и взял город в кольцо блокады. На острове тоже было тяжело. Поддерживать связь с советской землей становилось все труднее. Андросов умолчал обо всем этом и рассказал только о боевых эпизодах — то, что слышал он по радио или прочитал в случайно привезенных газетах.

— Как дерутся! — сказал он восхищенно. — Как, черти, дерутся!

— Дерутся, — повторил Сгибнев и, помолчав, сказал горько: — А я не могу вот. На чорта я такой нужен?

«Даже об этом нельзя!» сокрушенно подумал Андросов, досадуя на свою недогадливость.

Он приходил каждый день, но чаще заставал Петра без сознания или в буйном бреду.

Во время одного из припадков врачи стали совещаться возле его постели. Они сходились на том, что необходима трепанация черепа.

— Не надо! — сказал вдруг Петр ясным и резким голосом.

Врачи переглянулись.

— Может быть, и в самом деле не надо, — пожал

плечами главный хирург. — У него есть главное: молодость и желание жить. Это, пожалуй, сильнее трепанации...

На шестой день повязку сняли на миг. Сквозь маленькие отверстия плотных черных очков Сгибнев увидел свои пальцы.

— Отлично, — сказал доктор. — Все будет ладно.

Теперь Сгибнев совсем поверил.

Он успокоился и стал послушен. Сознание больше не покидало его.

В один из дней Андросов пришел к нему днем, в обычное время, а вечером Сгибнев услышал его голос снова. Но Андросов не сел, как всегда, подле его койки, а разговаривал, словно из дальнего угла. И голос у него тоже был другой, непривычный — затрудненный и слабый.

— Что ты, Саша? — удивился Петр.

— Лежу я здесь. Мы теперь, так сказать, коллеги,— объяснил техник.

Его ранило на аэродроме осколком немецкой мины, и он попросился в ту же палату, где лежал его друг.

Вскоре повязку с глаз Сгибнева сняли совсем. Видел он еще плохо. Но зрение улучшалось, возвращалось постепенно. Правда, врачи считали, что надежды на полное восстановление нет, но сам он не знал этого. Да и врачи колебались: кто знает? Все возможно...

Сгибнев уже стал выходить понемногу, когда началась эвакуация Эзеля.

На двадцатый день болезни Петра самолеты забрали раненых и медицинский персонал госпиталя. Мест было мало. Нехватало летчиков. Командир части предложил Сгибневу:

— Машину я вам дам. Хотите жить — летите.

Он согласился мгновенно. Еще бы: лететь! Опять повести машину!.. Ведь еще так недавно были дни, когда он думал, что никогда больше не сможет сесть за штурвал.

Они оставляли остров последними.

Теперь некому было приводить в порядок аэродром, и посадочная площадка была вся изрыта свежими воронками. Выброшенная взрывами земля налипла комьями на крылья двух самолетов, стоявших на старте. Моторы у этих машин были старые, отработанные. Считалось, что летать на них больше нельзя. Однако много невозможного приходилось делать в те дни. Взлетать с такой площадки тоже, пожалуй, не рекомендовалось. Мина провыла над головой Петра, словно кто-то рвал в небе длинную холстину. В ближней роще поднялся черный дым, земля и обломанные ветки поднялись над молодыми березами. Сгибнев открыл капот машины и только улыбнулся, поглядев на открывшуюся ему рухлядь.

«Гроб! — подумал он почти весело. — Ну и гроб!»

Очень хотелось поскорее сесть в кабину, снова почувствовать под руками штурвал, сектор газа, нажать ногою педаль.

Закончив приготовления, Сгибнев взял к себе в кабину раненого Андросова. Машина поднялась в воздух, когда немцы уже начинали высаживаться на берег острова.

На чихающем, замирающем моторе Сгибнев пошел по направлению к Ханко.

Машины дошли, и посадку Сгибнев совершил отлично.

С Ханко Андросова отправили в один из тыловых госпиталей, а Сгибневу разрешили остаться на острове.

— Пиши, — сказал он Андросову на прощанье.

— Ладно, — отозвался тот. — «Куда-нибудь», как поется в песне.

Неизвестно было, куда едет Андросов. Неизвестно было, сколько времени пробудет Сгибнев на Ханко.

Положение здесь мало чем отличалось от того, что было на покинутом ими Эзеле: так же окружали этот остров немцы и финны, так же нещадно обстреливали эту землю, так же часто прилетали на штурмовку вражеские самолеты. Здесь держало оборону веселое и неукротимое

племя балтийцев. Барон Маннергейм сбрасывал им листовки, листя, делая комплименты за храбрость и уговаривая сдаться. Они отвечали лихим письмом, в котором неистребимая злость была сдобрена таким же неистребимым юмором — с перцем и с солью, — и продолжали драться, пробираясь во вражеские тылы, добывая «языков», громя и уничтожая немецкие склады.

Сгибнев стал воевать вместе с ними. Совершил здесь двадцать или тридцать полетов. Все на том же моторе, на котором теоретически давно уже летать было нельзя.

Беда, однако, была не в моторе. У Петра снова начали сдавать глаза. При посадках он плохо видел землю. После полетов начиналась сильная резь в глазах и непереносимая головная боль.

Летчик крепился дней восемь, потом пошел к Смирнову, командиру отряда.

— Гляди, вовсе без глаз останешься, — сказал командир. И решил: — Лети в Ленинград.

Петр в последний раз взлетел на том же неутомимом моторе, и провожать его пошел старый товарищ — Якшеев. Он проводил Сгибнева до Кронштадта, а в Ленинград Петр прилетел один.

Все время думал он о том, как бы не осрамиться ему при посадке, но глаза с каждой минутой болели сильнее, и потом — так, как это бывало во всех последних полетах, — затуманилась земля. Она казалась то ближе, то дальше; затем он перестал ее видеть вовсе, и машина села с позорнейшим «козлом», толкнулась оземь и едва не перекувырнулась через винт.

Командир подошел, чтобы рассмотреть неумелого летчика поближе, и узнал Сгибнева. До войны они работали на одном аэродроме.

Сгибнев не мог разглядеть его лица. Глаза болели очень сильно. Он хотел закрыть их рукою, но пересилил себя и стоял смирно, как полагается, только лицо его было красным и искаженным от стыда и от сильной боли.

— Садитесь, — строго сказал командир. — Старый летчик, опытный истребитель, а как посадили машину?! Так и сломать недолго...

— У меня глаза... — сказал Петр и почувствовал, что больше не может стоять на ногах.

— Санитара! — крикнул командир изменившимся голосом.

Сгибневу пришлось снова ложиться в госпиталь. На этот раз надолго.

Из Ленинграда его отправили в Москву, затем в Саранск, и там, в маленьком тихом тыловом городке, он, к своему удивлению, встретил Андросова. Они опять оказались в одном госпитале. Их встреча не была особенно радостной: слишком много тяжелых дум было у обоих. С фронтов шли плохие вести, и было очень трудно слушать их здесь, в госпитале, зная, что сам ничего не можешь сделать, ничем не можешь быть полезен.

Кончался октябрь. Смертельная опасность угрожала Москве, а в Саранске было тихо. Если бы не госпитали с ранеными фронтовиками, здесь ничто не напоминало бы о войне.

Сгибнев не верил в то, что Москва может пасть.

Он не бредил больше. Но по ночам ему часто снились полеты и воздушные схватки. Он снова шел в боевую атаку, ждал смертельного удара и просыпался с сильно бьющимся сердцем, охваченный таким реальным и привычным азартом боя.

Голова у него теперь болела редко, боли в глазах тоже почти не было. Читать он еще не мог, но начал уже видеть настолько, что мог свободно ходить по улицам.

Ему разрешили выписаться из госпиталя.

Петр поселился в казарме запасного полка и ходил в госпиталь на лечебные процедуры. На пути, вдоль широких улиц стояли чистые одноэтажные дома с просторными дворами. Из открытых форточек доносился то дет-

ский голос, то музыка из радиорепродуктора. Под деревянными досками тротуаров хлюпала осенняя грязь. Тощая коза со свалявшейся шерстью глодала мокрую от дождя афишу. Сгибнев видел фигуры прохожих, но не различал их лиц, видел синие таблички на перекрестках, но не мог прочитать названия улиц. Он не был теперь ни слепым, ни зрячим, и это не переставало мучить его. Иногда он начинал думать, кем может он стать, если придется попрощаться с профессией летчика, но мысли не вязались; они обрывались всегда на убежденном решении: «Я должен летать!» Он повторял себе: «Я буду здоровым. Я полечу снова». И с ожесточенным рвением выполнял все, что предписывали ему врачи. Однажды его осмотрела приехавшая в Саранск специалистка по глазным болезням — опытный, знающий профессор.

— Трудно сказать, — объяснила она Сгибневу после осмотра. — Если зрение нарушено на почве нервного потрясения при ударе, то можно надеяться, что будете видеть. А если тут травматическое повреждение осколками разбившихся очков — ничего не поделаешь.

Сгибневу показалось, что она это говорит очень равнодушно и черство, никакого дела ей нет до его глаз и до всех его страданий, и он даже подумал с раздражением: «Экий сухарь!»

Но вскоре уже ругал себя за несправедливую раздражительность. Профессор отнесся к нему внимательно. Она начала новый курс и стала лечить Петра по методу Вишневского. Они много беседовали потом, и Сгибнев понял, что под внешней сухостью кроется большая душа, полная беспокойной заботы о людях. Исподволь, осторожно и сдержанно укрепила она у Петра веру в выздоровление.

Он писал много писем в те дни. Но ответа не было. Письма из осажденного Ленинграда шли долго. Петр ничего не знал о своей семье. Дядя Василий Павлович ездил по стране, он работал в Наркомате вооружений,

бывал на заводах. Петр писал в Москву его жене, Анне Петровне:

«Если бы вы знали, как тяжело пришлось мне прожить этот месяц! В тот самый момент, когда мне казалось, что я уже совершенно поправился, стал чувствовать себя очень хорошо, судьба, как бы в насмешку, приготовила еще один удар — получилось повторное осложнение на глаза, и мне суждено было навсегда стать полуслепым, если бы не огромное мастерство врачей и не моя выдержка и желание стать полноценным и здоровым человеком...»

Характер не дается человеку от рождения. Радости и обиды, подвиги и ошибки, удачи и горести сплавляют характер, как шихта в доменной печи входит в металл. Болезнь изменила Петра. Он стал строже и сдержаннее; дни трудных раздумий, когда он лежал в черной тьме надвигающейся слепоты, не прошли даром. То, что в письме называл он своей выдержкой, было на самом деле больше, чем выдержка. У Петра и в юношеские его годы выдержки было достаточно, а в эти короткие месяцы болезни проявилась у него настойчивая, жизнеупорная хватка, выказывающая большой сложившийся характер. Он боролся за свое здоровье с той уверенной, всесокрушающей силой, которую дает человеку лишь наступившая зрелость. Внешне он мало изменился. Осталась та же легкость движений небольшого крепкого тела. Так же складывались в улыбку почти с детской мягкостью очерченные губы. Попрежнему любил он веселую шутку и хорошую песню. И все же он не был больше тем юношей, который полгода назад начинал войну. Юношеское упорство сменилось в нем зрелой, мужественной твердостью. Много душевных ран перенес он за эти полгода войны. Горе своего народа, гибель многих боевых друзей, развалины городов и глаза осиротевших детей — то, что видел он в долгом пути от Эзеля до Саранска; собственная болезнь, едва не искалечившая всю его судьбу; известие о смерти брата Ни-

колая, убитого под Кингисеппом, — эта весть стороною дошла в Саранск, — все оставалось в сердце рвущей, постоянно напоминающей о себе болью. Во всем виноват был немец. И ненависть к немцу поднималась в нем с неутолимой силой.

Выпал снег и покрыл мостки тротуаров и широкие немощеные улицы.

Радио сообщило о том, что вражеские армии отброшены от Москвы.

Когда минуло полтора месяца лечения в Саранске, зрение вернулось к Сгибневу настолько, что можно уже было добиваться возвращения в авиацию. Сгибнев стал ходить по комиссиям, настаивая, чтобы его вновь посадили на самолет.

Он получил назначение на Север — в военно-воздушные силы Северного Военно-Морского флота.

Андросов тоже поправился к тому времени. Вдвоем со Сгибневым они выхлопотали назначение в одно место.

Вместе друзья отправились в путь.

5

Моряки считают северные воды лучшей военно-морской школой. Злое, штормовое море требует от человека мужества и сноровки. В каждом плаванье нужно преодолевать множество испытаний. При ясном небе с внезапной стремительностью начинает падать барометр, шквалистый ветер заволакивает тучами солнце и разводит крутую волну, снег налетает зарядами, неприглядный туман держится по нескольку суток, и даже определиться по звездам нельзя в такую погоду. А у берега отлив обнажает коварные рифы и отмели, завихряются опасные течения в горлах неисчислимых фиордов. Неумелому моряку не провести здесь судна, не одолеть недружелюбного моря.

Точно так же суровы и требовательны эти края к летчикам.

Петр Сгибнев приехал в Мурманск зимним вечером. Впрочем, разницы между днем и ночью в эту пору еще не бывает. Длинная, сплошная полярная ночь, освещаемая лишь отблесками снега, покрывающего землю, да мерцающим светом полярного сияния, которое зыбится в небе.

Когда Андросов и Сгибнев шли с вокзала, радио объявило воздушную тревогу, и сразу с улиц и с окрестных скал забили зенитки, прожекторы заметались в небе, начала вздрагивать земля от упавших где-то бомб.

— Одиннадцатая, — сказал человек, укрывшийся от падающих осколков рядом с Петром в подворотне большого дома.

— Что — «одиннадцатая»? — не поняв, переспросил Сгибнев.

— Это одиннадцатая тревога сегодня, — пояснил тот.

Аэродром, с которого предстояло теперь летать Петру Сгибневу, лежал в котловане между скал, поросших корявой полярной березкой.

Полк, куда был назначен старший лейтенант-балтиец, в первые месяцы войны был награжден орденом Красного Знамени; недавно он стал гвардейским. Летчики здесь потрудились много и хорошо, и за время боев имена многих из них стали известны в стране и даже за пределами страны.

Так знали, например, Бориса Сафонова.

«Сафоновский удар» — это стало уже нарицательным.

Петр Сгибнев с интересом вглядывался в майора Сафонова. Высокий спокойный человек с мужественно-красивым лицом, он казался замкнутым и, может быть, даже чересчур собранным. Позже Сгибнев увидел его на аэродроме. Там замкнутость исчезла. У самолета ясно было, что этот человек отдан одной страсти, весь полон ею и только о ней может говорить с горячей заинтересованностью, с подлинным вдохновением. Этой страстью было его дело — самолет, страдные будни воз-

душной войны, напряженный поиск врага и жестокие схватки с ним — насмерть, до победы!

Это горение было понятно и близко Петру Сгибневу. Он сам испытывал то же самое, и оттого между ним и Сафоновым, несмотря на разницу в возрасте, скоро установилось взаимное любовное уважение друг к другу.

В новой обстановке Сгибнев сразу почувствовал себя достаточно крепко и уверенно. Что ж, он тоже не зеленым новичком пришел в этот славный гвардейский полк. Орден Красного Знамени был уже заслужен им в боях; на его счету было уже четыре сбитых немецких самолета. И поражение, испытанное им на Эзеле, тоже стало для него не меньшим уроком, чем любая хорошая победа.

Он появился здесь сердитый, — крепко сердитый на врага и полный жадности к боевой работе.

Первое время пришлось знакомиться с новой, не известной до сих пор ему материальной частью и с незнакомым военно-воздушным театром.

Машина обладала большею быстротой, чем привычная для него «Чайка»; в управлении она была легка, достаточно послушна. Вооружение хорошее. Правда, маневренность несколько хуже, но такое уж дело — скорость: возрастая, она всегда съедает маневренность машины. К этому нужно привыкнуть.

Он летал весь март, осваивался. Изучал влияние магнитных потоков. Привыкал к неверному, мерцающему свету северного сияния, дружился с полученной машиной, свыкался с товарищами, ходившими в одном звене.

Третьего апреля его звено пошло на барраж над городом. В этот день немцы попытались прорваться на бомбежку. «Юнкерсы» шли в сопровождении «Мессершмиттов». Завязался бой, и Сгибнев сбил «сто девятого». Это была его первая победа на Севере. Он дрался уверенно, со злым спокойствием, с совершенно ясной головой, как еще никогда прежде.

Через несколько дней он свалил «сто десятого» в такой же короткой, напористой и злой схватке.

Боев было много. У немцев была на этом участке сильная авиация. В первые месяцы войны они понесли в воздухе большие потери, но за зиму восстановили материальную часть, перебросили опытных летчиков из Западной Европы и из противовоздушной обороны Берлина и с наступлением солнечных дней начали развивать все возрастающую активность, стараясь парализовать работу важного порта и уничтожить большой северный город. Истребители подстерегали немецких летчиков над линией фронта, и там завязывались жестокие бои, заставлявшие немцев чаще всего поворачивать вспять, потеряв значительную часть участвовавших в схватке машин.

Еще не кончился апрель, а Сгибнев за этот неполный месяц боевой работы удвоил свой счет, сбив на Севере столько же машин, сколько было им сбито на Балтике. Теперь уже восемь немецких самолетов было на его счету. Сгибнева начали поминать в числе лучших летчиков на собраниях. Он увидел свою фамилию во флотской газете. Одна из корреспонденций была иллюстрирована его портретом — карандашной зарисовкой, сделанной одним из авиатехников и весьма мало похожей. Сгибнев шутил: «Подписано, что это я, — надо верить». Каждый бой сближал его с новыми товарищами больше, чем могли бы сблизить годы иного знакомства. Петр летал в эскадрилье Александра Коваленко, Героя Советского Союза, ближайшего друга Сафонова. Коваленко был отличный летчик, веселый человек с неисчерпаемым запасом забавных историй. В полку его называли «истребитель истребителей». Счет уничтоженных им немецких машин пошел на вторую дюжину. У него было чему поучиться. В Сгибневе Коваленко сразу почувствовал настоящего истребителя.

— Цей може, — говорил он про своего нового летчика с грубоватою лаской. В эти два украинские слова вкладывалась у Коваленко наивысшая похвала.

Когда Коваленко был переведен в другую часть, Петр Сгибнев узнал неожиданно, что командование решило назначить его командиром эскадрильи.

Положение было не из легких. Он был новый человек в полку, и у него только лишь начали складываться совсем другие, товарищеские, отношения с людьми, с которыми он здесь повстречался. К тому же и возраст его был несколько необычен для командира: в ту пору Петру не исполнилось еще и двадцати двух лет. А в эскадрилье был народ постарше: и возрастом и по стажу — крепкие, опытные летчики. Число сбитых вражеских самолетов у многих не уступало счету Сгибнева; некоторые имели и больше.

Петр почувствовал себя собранным и напряженным, словно в предчувствии трудного боя.

Первый же день после получения приказа начался неудачно.

Один из летчиков эскадрильи, Ш., начал выруливать свою машину, допустил небрежность; его самолет скапотировал и стал на нос.

Среди лётного состава этой эскадрильи Ш. был единственным старым и близким товарищем Сгибнева; они вместе учились в Ейске, были знакомы и до этого, по Ленинграду. Как же его ругать? Нелегко сразу поставить себя на место начальника, а его на место подчиненного. И помощи ждать не от кого. Сгибнев вспомнил прежних своих командиров, которые умели взять летчика «за душу». Отвел Ш. в сторону. Поговорили. Разговор получился хмурый, вовсе не такой, каким бы он должен быть.

А вечером того же дня другой летчик, Ш., тоже на рулежке, выбил стабилизатор.

В один день две поломки...

И это в эскадрилье, которая до сих пор слыла лучшей в полку, безаварийной и самой боевой!

Состояние у Сгибнева было тяжелое.

Адъютант Данилов, прослуживший в армии и в воен-

но-воздушных силах двенадцать лет, человек пожилой и опытный, сразу понял настроение молодого командира.

— А без этого и не бывает, — говорил он с утешительной невозмутимостью. — Ты как думал? Получил власть — и командуй? Само пойдет? Нет, голуба моя! Это со стороны так кажется, что начальником быть легко, а на самом-то деле ни один командир командиром не родился. Один человек — один характер. Два человека — два характера, и оба разные; к каждому свой особый ключик подходит. А у тебя теперь вон сколько орлов, да всё буйные головы... Думаешь, твоим командирам с тобой легко было? Тоже, верно, башку ломали: «Как, дескать, к Сгибневу подойти?» Вот и ты приглядись: с одним один разговор нужен, с другим — другой. Видал дирижера? Он не всем одинаково руками машет. Гобою он вроде бы пальцем погрозил; кларнета словно рукою по голове гладит. У каждого инструмента свой голос, а игра при умелой руке — согласная: оркестр!..

Сгибнев, конечно, и сам все это понимал. Но от слов Данилова ему все же становилось легче: он не чувствовал себя таким одиноким, предоставленным самому себе в сложное для него время. Его утешала мысль, что это понятно другому человеку без всяких объяснений. Значит, не с ним первым такое. Через это же прошло большинство командиров...

Был еще и Андросов. Разговоры с ним тоже помогали. Понемногу Сгибнев начинал входить в свою новую роль. Он должен был показать свое превосходство — превосходство командира — не молодежи, только что покинувшей лётные школы, но людям равного боевого опыта, сверстникам и старшим по возрасту. Прежний азарт поисков ради самого боя перешел теперь в рассчитанную демонстрацию своего умения. Умения хватало. За год войны накопился опыт, было знание многих неожиданностей, возможных в бою. Теперь каждое сражение Сгибнев внимательно анализировал. Он обобщал повадки немцев, вникал в их систему воздушной войны. Немед-

ленно после боя — по старой сафоновской традиции — собирал летчиков на земле, проводил разборы.

Вспоминая себя в дни Эзеля, он говорил летчикам:

— Часто молодые пилоты думают, что сбить противника можно напористостью и дерзостью. Они думают только о том, как сбить. Бросаются на врага, не заботясь, прикрыт ли самолет или нет. Смелость и напористость — хорошие черты летчика-истребителя. Но они дают нужный результат только при трезвом уме. Всегда помни о хвосте своего самолета. Пусть товарищ прикрывает твой самолет, а сам прикрывай хвост машины товарища. Не забывай об этом ни на минуту. Тогда все будет ладно.

Он рассказывал им, чего ему самому стоил беззаботный отрыв от товарищей. Учил он летчиков беречь боекомплект.

— Вести огонь, ориентируясь только по трассе, нельзя. Трасса обманывает. Каждому ясно: самый гибельный огонь — огонь с короткой дистанции. Начинай метров с двухсот пятидесяти, а доведи до тридцати. Сперва дай короткую очередь. Не попал — даешь еще! Опять короткую. Видишь: есть! Прицел точный. Жарь длинной! Теперь ему крышка! Нет ганса! А начнешь без оглядки палить в белый свет, как в копеечку, патроны у тебя выйдут. Вот ты и стал не бойцом, а мишенью...

В одном из боев над морем участвовали две эскадрильи. Одной командовал Коваленко, другой — Сгибнев. Истребители защищали караван транспортов. Немцы пытались атаковать. В этом бою было сбито пятнадцать германских машин. Десять сбили летчики Коваленко, пять — летчики Сгибнева.

— Я ж казав, — ухмылялся потом Коваленко, — цей може... Я только подумаю, что нужно сделать, а он уже дает в самую точку.

Десятого мая истребители Сгибнева пошли к вражескому берегу, где вели бои десантные отряды морской пехоты. Немецкая авиация атаковала десантников.

Петр перед вылетом разработал план операции. На земле ему все казалось ясным. В продуманном — может быть, даже с излишней тщательностью — плане командир эскадрильи впервые добился воплощения всей системы, которую он давно уже кропотливо строил. Получив боевое задание, истребители собрались близ своих машин. Винты самолетов рокотали. Летчики слушали командира, разглядывая карты в своих планшетках. Петр Сгибнев видел, что все они отлично его понимают и вполне — не по долгу подчинения, а сердцем своим — одобряют продуманный им план.

К линии фронта командир эскадрильи шел в отличном настроении.

Плотным строем летели его истребители.

Для боя они были разделены на две группы: одна из них должна была быть ударной, вторая — группой охранения. Каждый из самолетов ударной группы имел в паре ведомого, который следил бы в бою за безопасностью атакующей машины.

К указанному фиорду пришли, когда несколько десятков вражеских машин уже наседали на морскую пехоту: бомбили и обстреливали из пулеметов ее боевые порядки.

Началось воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовало до пятидесяти самолетов. В воздухе оглушительно ревели моторы, трещали пулеметы; в этот гул и треск вплеталась заливистая, звонкая скороговорка авиационных автоматических пушек. Сперва все шло правильно, — совсем так, как того хотелось Сгибневу. Самолеты действовали слитно, слаженно, словно единый разящий и неуязвимый клубок. По плану они должны были внезапным ударом разрубить неприятельский строй, а затем уничтожить немецкую группу по частям.

У немцев было преимущество в высоте. Пикируя, нападали они сверху, пытаясь опередить летчиков Сгибнева и рассечь их плотно сцепленное кольцо. Но все эти

немецкие атаки захлебывались, натолкнувшись на огонь пушек и пулеметов с охраняющих друг друга наших машин.

И вдруг словно что-то сломалось.

Слева одна из машин охранения ввязалась в бой без всякой надобности; за нею выскочила другая; летчиков этой группы охватил неукротимый боевой азарт, и, позабыв все, что говорилось с ними после предыдущих боев и перед нынешним, они сами вступили в схватку. Началось то, что летчики обычно называют «каруселью». Сразу стало трудно различать, где наши самолеты, а где немецкие. Кто-нибудь из летчиков начинал бить по «Мессершмитту», и вдруг — едва не под трассу пулеметной очереди — подворачивалась машина товарища. Вести точный огонь было трудно. Маневрирование было тоже слишком затруднено. Злясь и нещадно ругаясь, следил Сгибнев за своими летчиками. Он досадовал на то, что так нелепо сорвана продуманная им операция, но, несмотря на эту досаду, ему приятно было глядеть на то, как дерутся истребители в этом бою. «Мессерам» доводилось круто...

Несколько раз Сгибнев бросался выручать зарвавшихся «ястребков»; он отгонял от них «Мессершмиттов». А когда два «сто девятых» сверху ринулись на машину Карпа Лопатина, Сгибнев точной очередью отсек одного прямо от хвоста лопатинского самолета, а затем, сделав боевой разворот, пошел без передышки в атаку на другого немца.

С Лопатиным у командира были особые отношения. Карп Лопатин был самым молодым летчиком эскадрильи. Он один здесь был моложе Сгибнева не только опытом, но и годами. Почти одновременно со Сгибневым прибыл он сюда, в эскадрилью, прямо из школы, и в нем сразу почувствовались огонек, жадность к бою и хватка, которые определяют настоящего истребителя. Петр видел в молодом сержанте знакомую горячность и неукротимость. Он взял Карпа Лопатина себе в пару — сделал своим ведомым. В нескольких боях Лопатин прикрывал

машину своего командира. Сегодня он, как и все остальные летчики группы прикрытия, зарвался, не дожидаясь времени, кинулся в схватку. Петр понимал его порыв. «Ну, разговор с ними со всеми будет крепкий. Должны же они наконец понять... Однако сейчас нужно выручать Лопатина...» Тот яростно отбивался. Сбив одного из нападающих, Сгибнев пошел в лоб на оставшегося немца. «Мессершмитт» мертвой, бульдожьей хваткой вцепился в хвост лопатинской машины. Оба вертелись, однако Лопатину не удавалось вырваться. Сгибнев шел на немца. Двести метров. Пора! Проверил прицел, нажал гашетку. Очередь. Есть! Еще очередь, подлиннее. Все правильно. Правую плоскость «Мессершмитта» лизнуло пламя. Машина закувыркалась книзу. Готов ганс!

Но и самолет Сгибнева был поврежден в это время очередью с другого, умело зашедшего «Мессершмитта». Мотор еще тянул, но чересчур нагревался и мог вот-вот «обрезать». Нужно было уходить.

Огорченный и злой, вывел он свою машину из боя и стал уходить к своему аэродрому.

Думая о продолжающейся схватке и о сорванном плане, Петр Сгибнев регулировал работу раненого мотора. Он так увлекся своими мыслями, что не заметил, как в хвост его машины подстроились два «сто девятых» и стали расстреливать уходящий, уже подбитый самолет Сгибнева в упор. Петр обернулся лишь тогда, когда в бронированную спинку кабины дробно ударили очереди немецких пулеметов.

Подбитой машиной было нелегко управлять. Сгибнев выжал из раненого самолета всю маневренность, на которую тот еще был способен. С трудом оторвался он от «мессеров» и сам бросился в атаку. «Мессеры» отваливали в сторону, набирали высоту и снова — с пике — обрушивались на израненный самолет. Немецкие атаки учащались, интенсивность их и сила нарастали. Сгибневу было все труднее. Машина слушалась тяжело, но ему еще удавалось увертываться и уходить от немцев, увле-

кая их постепенно к своему аэродрому. Потом он заметил в воздухе двух наших истребителей и начал тянуть противника в их сторону. Маневр удался. Последним переворотом Петр оторвался от «мессеров» и оказался под защитой своих товарищей.

Напряжение боя несколько отвлекло его, но на аэродроме все прежние мысли вернулись.

Итог схватки над линией фронта был такой: истребители Сгибнева сбили восемь немецких самолетов, но и сами потеряли при этом три машины.

Командир эскадрильи был твердо убежден, что этих потерь можно было избежать, если бы приказ был выполнен точно и горячие головы не развели бы в воздухе ту суматошную карусель, что спутала ход всей операции. Он горячо объяснял это на разборе.

Через день представилась возможность доказать справедливость своих выводов.

Снова самолеты пошли к тому же фиорду. И опять было тесно в воздухе от наших и немецких машин. Но все делали то, что должны были делать, и весь бой протекал в уверенном и грозном спокойствии. На этот раз Сгибнев командовал действиями двух эскадрилий. Во вторую эскадрилью входили самолеты другого типа — несколько медленные, но обладающие превосходной маневренностью «И-16». Летчики наградили их шутливым прозвищем «ишаки». Сгибнев добился отличного, эффективного взаимодействия с этими машинами. Его самолеты дрались на горизонталях, а «ишаки», предельно используя свою маневренность, вели бой на вертикалях. И группа прикрытия в этом бою тоже спокойно и неуклонно выполняла свою задачу.

Истребители без потерь сбили девять вражеских самолетов. Они еще догорали на скалах дымными кострами, когда бой окончился и вся группа Сгибнева, в полном составе, легла на обратный курс, подстроившись к своему командиру.

В мае Сгибнев сам сбил пять самолетов. Дважды

сбивал по два самолета в день. На его счету было уже тринадцать уничтоженных германских машин: «Дорнье», «Юнкерсы» и «Мессершмитты» разных типов.

Все еще длилась нескончаемая северная зима. Стоял туман над холодным морем. И в один из таких пасмурных дней в полк привезли гвардейское знамя.

Поземка гнала по аэродрому сухой и колючий снег. Летчики стояли в меховых унтах, в теплых регланах. Позади виднелись боевые машины. Майор Сафонов обнажил голову, опустился на одно колено и поцеловал тяжелый шелк алого знамени. Ветер вздувал этот шелк, и оттого казалось, что лицо Ленина оживает и глядит на своих гвардейцев. И, как бы обращаясь к нему, Борис Сафонов, не поднимаясь с колена, произнес гвардейскую клятву. В чистой и торжественной красоте этой минуты было истинно рыцарское величие, и Сгибнев подумал, что удивительно хорошо вяжется это величие со всем обликом Сафонова, с его человеческим и душевным складом.

Тяжелый шелк шевелился под ветром. Он осенял минувшие победы, память о погибших, путь славы и доблести, по которому гвардейцам еще предстояло итти.

Сгибнев поднялся со снега, полный ощущения торжественной радости.

Играл оркестр. Медные звуки гимна плыли над лётным полем и окрестными скалами.

Машины стояли, готовые к новому взлёту.

II

В первом бою Сгибнев не понял, как удалось ему сбить вражескую машину. Он действовал почти вслепую, наугад. Не ощущал он тогда закономерной последовательности ни в маневрах противника, ни даже в собственных действиях. Уже во второй схватке он начал угадывать, что сделает немец в следующую секунду, и сознательно опережал ожидаемый маневр.

Теперь не только течение одиночной схватки, но и законы группового боя, во всех его фазах, ясны были Сгибневу. Он знал, как ведет немец воздушную войну, знал, чем нужно отвечать ему, чтобы добиться победы.

Он знал, что если группа немецких истребителей рьяно старается завязать бой с нашими барражирующими самолетами, — значит нужно быть на-чеку: пройдет несколько минут, и следом за «мессерами» покажутся «Юнкерсы», норовящие прорваться к объекту, намеченному для бомбежки.

Чтобы «Юнкерсы» не прошли, нужно всегда иметь наготове несколько групп истребителей, эшелонированных на разных высотах. Если одна группа и будет связана боем с передовым отрядом «Мессершмиттов», другая сумеет встретить «Юнкерсов».

Нужно быть готовым к встрече с немецкими истребителями — «охотниками».

Это, так сказать, воздушные вражеские «кукушки». Противник засылает их парами. Летчики на этих самолетах обычно крепкие, опытные. Они накидываются внезапно — от солнца или вываливаются из-за облаков. Против этой внезапности — одно оружие: будь всегда на-чеку!

Летчики эскадрильи слушали его, верили Петру, шли за ним. Он был зрелый, искусный командир, и не один из проведенных им боев ставился в пример другим командирам и разбирался, как образец.

Одним из таких боев был бой 1 июля 1942 года.

Девятка «Юнкерсов», прикрытая по бокам девяткой «мессеров», шла к городу.

Сгибнев барражировал во главе семерки истребителей. Они были выше противника. Немецкие самолеты были ими замечены лишь тогда, когда «Юнкерсы» уже заходили от солнца. По всем законам тактики истребителям следовало самим итти на солнце, а затем оттуда атаковать «Юнкерсов» с хвоста. Но при таком маневре «Мессершмитты» могли бы отсечь наших истреби-

телей и связать их боем. Непосредственная атака с верхней полусферы опасна: огонь девяти немецких стрелков при таком нападении должен был быть наиболее силен и эффективен. Однако колебаться было некогда. Сгибнев решился, и вся семерка дружно ударила сверху.

«Мессершмитты» не успели защитить бомбардировщиков. Три «Юнкерса» были сбиты сразу. Истребители разбили их строй и опять начали бить немцев поодиночке. Еще четыре «Юнкерса» были уничтожены при преследовании. Расчет на внезапность и силу удара оправдался вполне. Немцы потеряли семь из девяти машин, прорывавшихся на бомбежку. У Сгибнева потерь не было. Весь бой длился немногим больше четверти часа.

В начале лета Петр Георгиевич Сгибнев получил звание капитана.

Он попрежнему был живой, быстрый, веселый. Стоило лишь ему появиться в землянке летчиков, он сразу становился центром, точно дрожжи, на которых неудержимо поднимается общее веселье.

Он снимал с койки гитару или мандолину, играл. Оставив вдруг музыку, выскакивал из землянки, чтобы щелкнуть кого-нибудь «федом» в самую неподходящую для фотографирования секунду.

Если бывало подолгу тихо, спрашивал, будто в шутку, но с настоящим нетерпением:

— Почему нет войны?

А потом вдруг исчезал, уходил к машинам, осматривал их подряд — свою и чужую, проверял вооружение и моторы, и если замечал, например, что свечи забрызгивают на малых оборотах или еще что-либо неладное происходит с машиной, вызывал техника, шпынял его и «подначивал»:

— Вот у Ющенко никогда такого не увидишь...

Однажды он сам сел испытывать самолет одного из своих истребителей. На земле проверил вооруже-

ние, потом взлетел и начал писать фигуры в небе: вираж, переворот, бочка, горка, штопор — одна фигура за другой, всласть, как в мирное время под Ленинградом.

Потом вдруг увидел, как слева, со стороны солнца, вспыхивают и повисают медленно тающие космы разрывов. Поглядел вниз: с аэродрома взлетают истребители, подстраиваются к ведущему и уходят туда, к разрывам.

«Противник в воздухе!..»

Мгновенно Сгибнев дал полный газ, сделал крутой разворот и устремился вдогонку. Он присоединился к своим, когда те уже вклинились в плотный строй «Юнкерсов». Немецкие бомбардировщики метались. Иные стремились еще прорваться к цели, уходили вперед. На них-то и накинулся Сгибнев. Выбрал передний «Юнкерс», пошел на него на полном газу. Жал и жал сектор газа. Поймал в прицел. Нажал гашетку. Навстречу с обеих сторон машины прочертились две трассы, — это отвечал стрелок с «Юнкерса». Но Сгибнева это трогало мало, — он в хорошей позиции. Ничего с ним этот ганс не поделает. Он следил лишь за линией собственной трассы. Нужен еще маленький доворот. Вот теперь точно. Новая очередь прорезает у немца обшивку. «Юнкерс» делает крен в сторону машины Сгибнева. Вот так немец опаснее: теперь его стрелок может влепить пару зарядов. Но Петр снижает свой самолет до уровня плоскостей немца, подходит вплотную, и с любимой — тридцатиметровой — дистанции снова дает очередь по кабине стрелка-радиста. Тот замолкает. Новый заход. Опять вплотную. Ганс занервничал. Он бросает свою машину из стороны в сторону, ложится в вираж. Не поможет! Еще очередь — по кабине летчика и по моторам. «Юнкерс» еще немного по инерции идет вперед, потом скользит на левое крыло, переворачивается и, тяжело крутясь, падает. Падает без обмана.

Сгибнев озирается. В стороне товарищи расправля-

ются с остальными немецкими бомбардировщиками. Им не грозит никакая опасность.

Петр начал уходить в сторону аэродрома и вдруг вспомнил:

«Да ведь он выходил всего лишь для того, чтобы испытать машину! Какое же право имел он вступать в бой? Да еще над аэродромом?.. Все видели. Что за пример для всей его эскадрильи? Ах, чорт, как нехорошо вышло! Ну, машина проверена, в бой итти может...»

На земле его встретил моторист Степанов. Помогая отстегнуть лямки парашюта, спросил:

— Как прошел бой?

Сгибнев сказал, как обычно:

— Нормально. Один не взлетит больше...

Потом заторопился к телефону, чтобы доложить на командный пункт.

— Испытание закончено! — И смущенно:—Не утерпел, товарищ майор. Разве можно было упустить из-под самого носа?

— Видел, видел, — дружелюбно пробурчало в ответ.

Но Сгибнев был недоволен собой в тот день: «Несерьезно вышло...»

Это была трудная для него пора. Было тяжело на душе: пришли плохие вести из Ленинграда. Странная телеграмма:

«Срочная. Сгибневу. Из Ленинграда. 5/VI. Мама Шура Боря умерли тчк Квартира разорена тчк Подробности письмом Сгибнев».

Отец считался погибшим в ополчении. От него с первых дней войны не было никаких вестей.

Какой Сгибнев подписал эту телеграмму?

Письма не было.

Много позже, лишь осенью, узнал Петр, что телеграмму действительно дал его отец. Он выбрался из вражеского окружения, прошел в Ленинград и слег там в госпиталь, надломленный полученными ранами и исто-

щенный в трудном пути. Мать тоже была жива. Отец не застал ее в Ленинграде, не мог узнать о ней ничего от соседей и решил, что Анна Фроловна погибла так же, как и дети.

Дети — брат и сестра Петра Сгибнева — в самом деле погибли.

Трудна была в Ленинграде зима 1941—1942 года...

Летом Сгибнев ничего еще обо всем этом не знал.

Он чувствовал лишь одно: немец разрушил его семью, — весь тот теплый, дружелюбный уют родной комнаты на Большой Колтовской, который был ему дорог всю жизнь.

Здесь, на Севере, взлетая со своего аэродрома, он всякий раз видел тяжелый дым, не исчезающий над городом. Город изо дня в день жгли «Юнкерсы».

Немец разрушал личное счастье людей, увечил родную землю, уничтожал все, созданное долголетним трудом для полнокровной, настоящей жизни.

Петр бывал неизменно весел в землянке, но сердце у него теперь щемило всегда.

Неутолимая потребность расплаты, мести навсегда овладела им, и только бой приносил разрядку.

— Почему нет войны? — попрежнему спрашивал Сгибнев.

И все меньше чувствовался в этом вопросе шутливый оттенок...

Петр Георгиевич Сгибнев сбил шестнадцать немецких машин. 23 октября 1942 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. В ноябре он начал командовать гвардейским авиационным полком.

Биографию его дописывать рано.

Он продолжает воевать, сбивать немецкие самолеты.

Он мстит немцу.

Он живет. Он победит!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ОИК-73689.

ЦЕНА 55 КОП.